

Асмодей Денница

ЛЕГИОН
АДА

ТЕНЬ ГРЯДУЩЕГО

Асмодей Денница

Легион Ада. Тень грядущего

«Автор»

2026

Денница А.

Легион Ада. Тень грядущего / А. Денница — «Автор», 2026

Они не пришли завоевывать мир. Они пришли раньше. Они — игвы, древняя раса античеловечества, чьи города выдолблены в изнанке реальности — в шрастрах, четырёхмерных подземных мирах, где время течёт вязко, стены дышат, а по трубам вместо воды течёт красная роса — шавва, пища демонов. Их столица Друккарг лежит под каменной толщей уральских гор, перевёрнутых вершинами вниз, и там, в багровом полумраке, миллионы игв строят нечто, о чём мир людей ещё ничего не знает. Эта книга — не история вторжения. Эта книга — история ожидания. Они готовили его веками: строили города, воспитывали поколения, обучали убивать без ненависти и ненавидеть без причины. Они собирали страдание — гаввах, — как другие собирают урожай, и кормили им своих богов. Они вербовали мёртвых: души умерших, перехваченные в Сумеречном Саду, месте, где души ждут перехода, — стирая их память и превращая в оружие, ключи к живым...

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	5
ПРОЛОГ	7
ГЛАВА 1. ГОРОД ПОД УРАЛОМ	15
ГЛАВА 2. ПРАИГВА И ЛИЛИТ	24
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Асмодей Денница

Легион Ада. Тень грядущего

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Эта книга не должна была увидеть свет. Я отдаю себе в этом отчёт — и всё же отдаю её вам, потому что в истории, которую вы держите в руках, промедление стоило дороже любой дерзости.

Что перед вами? Художественное произведение? Быть может. Но я, как и полагается человеку, прожившему достаточно долго у границы между мирами, предпочитаю называть вещи так, как их называли в источниках, из которых я черпал. Перед вами — расшифрованная и литературно обработанная хроника. Хроника резидента-наблюдателя сил Света, внедрённого в самое сердце врага, в Друккарг, подземную столицу того, что в старых книгах именуется античеловечеством.

В течение одиннадцати лет я собирал эти записи. Они приходили ко мне разными путями: через старые письма, через переписанные от руки и перепрятанные по чуланам копии, через дневники людей, которых уже нет. Одних материалов было мало, и то, что выпадало, я восполнял, сверяясь с источниками, о которых обязан сказать откровенно.

Основой послужили три столпа. Первый — метаисторическая космология Даниила Андреева, изложенная им в «Розе Мира»: учение о шрастрах — четырёхмерных изнанках мира, о городах античеловечества (Друккарг, Мудгабр, Юнукамн), о расах игв и раруггов, о великом демоне планеты, о слоях возмездия, о гаввахе и шавве — пище и валюте тьмы. Из этой системы я взял ткань мира, её слова и её законы. Второй — теософская и эзотерическая традиция в её русском и общеевропейском преломлении: труды по демонологии, оккультные справочники, трактаты о природе восставших духов. Третий — «Книга Урантии», в особенности повествования о восстании Люцифера и о проблемах, которые восстание породило: гордыня, самооправдание, разрыв с волей Отца, вербовка подвижников и то тяжкое многообразие, что остаётся в душе вселенной, когда один из величайших выбирает тьму. Из неё я взял, пересказав своими словами, историю падения и его цену.

Я не претендую на каноничность ни одного из этих учений. Я не проповедую и не разоблачаю. Я — только переписчик: свёл разрозненные свидетельства в единое повествование и дал ему звучать так, как звучала сама хроника, — от лица тех, кто готовит погибель, чтобы читатель понял: тьма убеждена в собственной правоте, и именно это делает её истинно страшной.

Почему рассказ ведётся от лица игв? Почему мы смотрим на людей глазами тех, кто готовит им погибель?

Потому что тьма — не то, чем она кажется со стороны. Мы привыкли думать, что зло приходит с рёвом и грохотом, в багровых отблесках, с криком боли. На деле оно приходит тихо. Оно прорастает исподволь: в привычках, в страхе, в усталости, в «правильных» решениях, которые принимают уставшие добрые люди. У него есть своя история, своя культура, своя красота — чудовищная красота, от которой холодеет внутри, потому что она почти неотличима от настоящей. Художник, желающий показать кошмар, обязан войти в кошмар. Я вошёл. Вы же держите в руках то, что я оттуда вынес.

Вторая причина — осторожность. Я не из тех, кто легкомысленно называет имена. Есть вещи, которые не следует произносить вслух без крайней необходимости: слова имеют вес, имена — власть. Я дал существам имена — Друккарг, Гагтунгр, легионы Сумеречного Сада, операция «Агасфер». Читая, помните: эти имена стоят в кавычках, как клейма на экспонатах. Я не приглашаю вас поклоняться им. Я приглашаю вас узнать их, чтобы встретить без страха,

когда однажды они постучат в вашу дверь — не в тексте, а в тишине между вашими собственными мыслями.

Структура книги подчинена структуре той хроники, из которой она выросла. Первая книга, «Тень грядущего», — это время до. Время, когда враг ещё не перешёл границы: строились города, вербовались души, готовился предводитель. Это самая страшная часть, потому что в ней нет войны — в ней есть только приготовление, и его почти невозможно заметить. Читая её, вы будете видеть мир людей глазами тех, кто считает нас лишь урожаем, — и, возможно, впервые задумаетесь, как часто мы сами сеем то, что им легко будет собрать.

Что касается того, что грядёт дальше, — я промолчу. Хроника обрывается там, где по моим расчётам должна начинаться вторая её часть, и при наборе расшифровки со мной произошёл случай, который я иначе, чем знамением, назвать не могу: на полях той записи, где мир ещё спит и граница цела, чужой рукой была выведена одна строка. Я не стану приводить её целиком. Скажу лишь, что этой строкой мне было запрещено рассказывать о том, что случится после. Поэтому я заканчиваю первую книгу там же, где оборвался источник, — на пороге. На пороге, за которым у всякого, сомкнувшего глаза, есть право однажды их не разомкнуть.

И последнее. Архив был передан мне с одним условием. Тот, кто передавал его, — не человек, или уже не человек, — сказал: «Не пиши этого ради славы. Пиши ради того, чтобы читающий ночью, в одиночестве, поднял глаза от страницы и понял, что он не один в комнате. Не для того, чтобы читатель поверил мне. Для того, чтобы он не поверил тишине, которая станет его собственным советником».

Я пишу ради этого. И потому помещаю в начале книги слова, которые вы найдёте в её конце, — чтобы круг сомкнулся, как смыкается любая дверь, если оставить её приоткрытой слишком долго.

Тьма не приходит с громом и молнией.

Она уже здесь.

И если после прочтения вам покажется, что где-то за вашей спиной кто-то тихо делает записи, — знайте: это не ваша фантазия. Это ваш наблюдатель.

Берегите свет.

Автор

Книга основана на произведениях книги «Розы Мира» Данила Андреева и «Книги Урантии».

ПРОЛОГ

«Тьма не приходит с громом и молнией. Она просачивается, как вода сквозь трещины в фундаменте, как яд в кровь, как сомнение в веру. И когда вы заметите её — будет уже поздно.»

— Из трактата «О природе вторжения», библиотека Синклита Мира

(Запись первая. Отчёт начинается с середины, как начинаются все настоящие отчёты: не с постановления, а с дрожи, которую уже нельзя не заметить. Эту страницу переписывали трижды. Ниже — то, что от неё осталось.)

В зале Совета Великих Игв царил полумрак — не потому, что источники света были скудны, а потому, что сами игвы предпочитали сумрак. Их цилиндрические головы с красными стебельчатыми глазами, выступающими по сторонам, лучше воспринимали тусклое свечение инфракрасных спектров. Те немногие видимые для человеческого глаза огни, что теплились в высоких нишах, служили лишь для того, чтобы подчёркивать величие пространства — конусообразного зала, выдолбленного в толще компенсационного выступа Уральских гор.

Вход в зал охраняли шестеро раругтов — исполинские звери с головами, похожими на жутко изуродованные лошадиные, с крыльями, твёрдыми, как крыло летательного аппарата, и с глазами, которые не знали другого выражения, кроме голодного багрового внимания. Нам, привычным к гомону наших же городов, их молчание казалось бы оглушительным: здесь, в Друккарге, никто не рычал без приказа, никто не шевелился без надобности, и даже воздух, казалось, сгустился в плотную субстанцию, которую обитатели шрастра называли дыханием-беззвуча. Это была не тишина пустоты. Это была дисциплина.

Астерион восседал на троне из застывшей лавы, его трубчатый рок был плотно сжат, а стебельчатые глаза медленно вращались, окидывая сородичей оценивающим взглядом. Он был стар даже по меркам игв — его каррох, созданный из демонической материи агги, нёс на себе следы четырёхсот семидесяти двух циклов воплощений в шрастрах. Четыре пары верхних конечностей покоились на подлокотниках трона, каждая с шестью длинными подвижными пальцами, унизанными тёмно-багровыми суставчатыми наростами.

Позади трона, в углублении стены, стоял жертвенный конус из обсидиана — тот самый, о котором в Энрофе ходили обрывки преданий, густо перемешанные с ложью и страхом. Трубы, опутывавшие его, вели вниз, в нижние уровни капища, где перерабатывалась красная роса — шавва, — доставляемая с поверхности с таким расчётом, чтобы её запасы никогда не иссякали. На конусе, грубо схваченном тёмно-багровыми письменами, мерцали капли, ещё не впитанные уицраором. Изредка одна из них срывалась и, падая, издавала звук, похожий на удар сердца.

Астерион смотрел на собравшихся с тем особенным терпением, которое даёт только очень долгая власть. Он не спешил. Он позволял Совету вслушиваться в себя, в этот мерзлый гул капища, в шелест шрастра, в далёкий, почти неразличимый треск машин, перемалывающих инфраматериалы. Всё это было его. Всё это ждало его слова.

Семь Великих Игв — правители основных городов-крепостей Друккарга — сидели на своих лавовых престолах полукругом. Их кожа, мышино-серая, тускло поблёскивала в инфракрасном свете. Кожные летательные перепонки между верхними конечностями были расслабленно сложены, но каждый из них готов был в любой момент расправить их — не столько для полёта в плотной среде шрастра, сколько для демонстрации статуса и готовности к действию. На лицах их — если можно так назвать цилиндрические головы с трубчатыми ртами — застыло выражение, которое у наших видов соответствует сосредоточенности: глаза были широко расставлены и вращались с одной и той же частотой, в такт биению сердца Астериона.

Сзади, на специальных подмостках, вычёркивали знаки протоколисты — игвы, обученные ста сорока двумя способами записывать события так, как их следует помнить. Никто из них не имел права голоса. Все они имели право жизни — и лишь потому, что их память была слишком ценна, чтобы позволить ей закончиться обычной смертью.

Игва-Стратег, чьё тело было покрыто сетью шрамов от давних битв с силами Света, первым нарушил тишину. Не потому, что ему не терпелось. А потому, что так было положено: сначала говорит тот, чьи шрамы старше всех.

— Сроки сдвигаются, — произнёс Астерион, и голос его, лишённый вибраций человеческой речи, походил скорее на ритмичный скрежет камня о камень. — Великий план требует ускорения. Мы не можем больше ждать, пока человечество само себя уничтожит.

Он сделал паузу, давая словам осесть в сознании Совет. В Энрофе человечество, представленное само себе, уже докатилось до черты, за которой начинается либо прозрение, либо гибель. С точки зрения игв, прозрение было опасно, гибель — недостаточно выгодна. Человек, погибающий от собственной руки, отдаёт меньше гаввах, чем человек, которого умирать учат веками. Гаввах — вот что стояло за каждой фразой Совета, даже когда говорили о политике, о войнах, о судьбах. Гаввах — страдание, стекающее с поверхности земли тонкими ручейками боли, — был их хлебом, их водой, их валютой, их дыханием. Без него вся эта мощь, все эти циклы, весь Друккарг превратились бы в груды пустых оболочек.

— Наши аналитические центры завершили триста семьдесят четвёртый цикл моделирования, — отозвался Игва-Исследователь, чьи глаза были чуть больше обычного, а трубчатый рот оснащён дополнительными чувствительными щупальцами. — Вероятность успеха операции «Агасфер» при текущих параметрах не превышает сорока двух процентов. Человечество слишком хаотично. Их эгрегоры непредсказуемы.

— Сорок два процента, — повторил Астерион, и в его голосе не было удивления, только взвешивание. — При том, что мы ещё ни разу не применили все инструменты сразу. Скажи мне, Исследователь: сколько циклов потребуется, чтобы довести этот показатель до семидесяти?

— Не меньше восьмидесяти, Верховный. И это при условии, что Синклит Мира не раскроет нашу сеть в Сумеречном Саду.

— А до восьмидесяти, — негромко вставил Игва-Стратег, — человечество успеет либо объединиться, либо уничтожить себя в одной из своих войн. И в том и в другом случае наш план устареет.

Они говорили об ускорении так, как люди говорят о погоде или об урожае. Ни для одного из них не было сомнения в том, что война с человечеством — не вопрос веры, а вопрос логики. Вопрос сроков. Вопрос тайны.

Астерион смотрел на них не мигая. Он никогда не мигал — веки у игв смыкались только в особых состояниях хохха, когда душа покидала тело и уходила в общение с высшими.

— Хаос — это ресурс, — перебил он, и его трубчатый рот издал низкий гортанный звук, который у игв заменял смех. — Именно хаос мы и будем использовать. Мы не станем сражаться с человечеством на поле боя — по крайней мере, не в первом акте. Мы проникнем в их сны, в их страхи, в их самые тёмные желания. Мы станем теми голосами, которые они слышат в тишине, теми тенями, которые они видят краем глаза.

— Всё это было в протоколах, — сухо заметил Игва-Стратег. — Техника «контаминации подсознания» не нова. Но наши последние попытки прорваться через защиту Синклита России провалились. Их демиург Яросвет укрепил эгрегориальные барьеры после событий пятьдесят третьего года.

— Пятьдесят третий год, — повторил Астерион, и в его голосе проскользнуло нечто, похожее на уважение к недооценённому противнику. — Я помню этот год. Они тогда почти прозрели. Люди на мгновение увидели правду целиком — и испугались её так, что предпочли

забыть. Что ж. Этой их чертой — способностью забывать — мы и воспользуемся. Они уже забыли, что знали. Через два поколения они забудут, что боялись.

Игва-Исследователь наклонил голову, демонстрируя почтение. Он не принадлежал к числу тех, кто спорит ради удовольствия; он принадлежал к числу тех, кто спорит ради пользы дела. Но сейчас он молчал, потому что молчание было частью того же протокола.

— Мы завершили формирование шести легионов Сумеречного Сада, — произнёс он после паузы. — Каждый легион — по пять тысяч душ, которые были отобраны за последние три десятилетия по протоколу «Тёмный Пастырь». Все они проходили через нашу систему «вербовки» — через страх, через боль, через отчаяние. Многие из них даже не подозревают, что в момент смерти их души стали нашими.

— И всё же, — возразил Игва-Стратег, — этого недостаточно. Шесть легионов — это всего лишь тридцать тысяч. Даже если мы используем их как диверсионные группы в Сумеречном Саду, они не смогут удержать плацдарм против сил Синклита.

— Тридцать тысяч обученных и укреплённых гаввахом душ, — поправил Астерион. — И каждая из них связана с живыми через кармические узлы. Родственники. Друзья. Враги. Те, кого они любили и ненавидели. Через эти узлы мы проникнем в сознание миллионов.

Он повернулся к стене, где на тёмно-багровой поверхности мерцала карта — не физическая, а эфирная, показывающая потоки психоэнергий, связывающие шрастры с миром людей. На ней, как жилы на теле живого существа, пульсировали линии: густые, тёмные, почти чёрные над Европейской частью России, более тонкие и нервные над остальным миром.

— Посмотрите. Здесь, — он указал длинным пальцем на густое переплетение линий над Европейской частью России. — Клубок кармических связей над Москвой. Через эту точку можно проникнуть в подсознание почти трети населения. А здесь, — его палец переместился на Северную Америку, — менее плотно, но структура удобнее для внедрения. Американский уицраор Стэбинг уже создал нам окна возможностей через свою систему контроля сознания.

— Но демиурги... — начал было Игва-Стратег.

— Демиурги слишком заняты борьбой друг с другом. Яросвет и Навна пытаются освободить её от плена в Друккарге. Западные демиурги соперничают за влияние на своих уицраоров. Индийский демиург слишком поглощён защитой собственного народа от Авардала, которого он сам породил. В этом хаосе мы можем действовать почти беспрепятственно.

Слова повисли в воздухе капища. Каждый из семерых знал: Астерион не лжёт, но и не досказывает. Демиурги действительно заняты. Однако заняты они главным образом тем, что удерживают равновесие, — а равновесие, с точки зрения игв, всегда было невыгодно тому, кто сидит в засаде. Осаждающий пользуется равновесием, как добычей.

Тишина повисла в зале Совета. Игвы обменивались жестами — быстрыми, почти неуловимыми движениями пальцев, означавшими сомнение, согласие, расчёт. Их трубчатые рты издавали тихие, похожие на шипение звуки — фонетический фон, на котором строился их односложный язык.

— Когда начнём? — спросил наконец Игва-Стратег.

— Первая волна уже началась, — ответил Астерион, и в его голосе послышалась удовлетворённая нота. — Тридцать три души уже внедрены в Сумеречный Сад в течение последних семи циклов. Они проходят последнюю подготовку. Ещё двадцать циклов, и мы сможем развернуть полноценную операцию по дестабилизации эгрегориальной защиты.

Он подошёл к самому краю возвышения и обвёл взглядом всех присутствующих. Его стебельчатые глаза, каждый из которых был размером с человеческий кулак, остановились на каждом из Игв.

— Мы не станем воевать с человечеством, — сказал он тихо, но отчётливо. — Мы станем их снами. Мы станем их страхами. Мы станем их богами, если потребуется. А когда они поте-

ряют способность отличать реальность от иллюзии — мы войдём. Не через ворота, не через стены. Через их собственные души.

Совет покинул зал в обычном порядке: первыми вышли младшие, последними — старейшие. Астерион остался один. Протоколисты оставили свои подмости, погасили консоли, но не посмели уйти прежде, чем последний знак не был выведен и сдан на хранение. Зал капища, огромный, конусообразный, гулкий, снова стал тем, чем был до начала собрания, — пустым сердцем Друккарга.

Игва-Исследователь, которого в личной переписке Совет называл Ксератом, задержался у выхода. Разрешено ему было остаться или нет, он остался, и Астерион не прогнал его: слишком долго они работали рука об руку, чтобы тратить время на условности.

— Верховный, — произнёс Ксерат, и голос его, тонкий, почти шипящий, был лишён той уверенности, которую он выказывал на Совете. — Я должен задать вопрос, который не решился задать при всех.

— Задавай.

— Операция «Агасфер»... он действительно готов? Не формально — я знаю, что формально он готов. Готов ли он внутренне? Мы ковали его веками. Если в нём осталась хотя бы искра того, чем он был до... до похищения, — всё может рухнуть в последний миг.

Астерион молчал долго — так долго, что шум машин в нижних уровнях капища начал казаться голосом, отвечающим вместо Верховного. Но наконец он заговорил:

— Ты помнишь, Ксерат, что такое лёд? Не тот, что бывает в Энрофе, а лёд, который образуется в самой толще мира, когда давление сравнится с сопротивлением камня? Такой лёд не имеет вкуса, не имеет цвета и не ломается. Наш инструмент — такой лёд. Внешне он — человек. Внутри — форма. Мы будем поддерживать эту форму до тех пор, пока она не совершит то, ради чего была задумана. А если в ней что-то шевелится, — Астерион сделал паузу, — то шевелится оно в сторону, которую мы ему укажем.

Ксерат склонил голову.

— Я отдал распоряжение ускорить подготовку второй волны. Тысяча душ будет внедрена в ближайшие циклы. Они будут действовать более агрессивно. Они будут сеять не просто страх — они будут сеять ненависть. Ненависть к себе. Ненависть к другим. Ненависть ко всему, что люди считают святым.

— Хорошо. И всё же не забывай: ненависть — это тоже чувство. А чувства у людей кончаются. Нам нужны не те, кто полон чувств, а те, кто опустошён. Пустота служит нам лучше, чем страсть.

Ксерат на миг замер — как замирает механизм, получивший команду, которую не может исполнить немедленно. Потом он кивнул и вышел.

Астерион остался один перед картой мира.

Он стоял так долго, что раругги у входа начали переступать с лапы на лапу — единственное разрешённое им выражение нетерпения. Потом он поднял руку и коснулся мерцающего узла линий над Москвой. Под пальцами поток психоэнергий потеплел, словно живое существо узнало прикосновение хозяина.

— Ты ещё не знаешь, что ты уже мой, — сказал он карте. — Ты ещё веришь, что у тебя есть воля. Что ж. Это правильно. Так и должно быть.

Внизу, под капищем, в толще перевёрнутых уральских гор, находился вход в мир, который игвы для краткости называли Садам. «Сумеречный Сад» — так это место называли души умерших людей, ожидающих перехода в Олирну. Здесь, в сером пространстве меж двух миров, время текло медленнее, память была зыбкой, а страхи — весомыми, как камни. Души прихо-

дили сюда после смерти, не зная, куда попали, и бродили по серой дымке, пока их не находили блюстители кармы или те, кого игвы посылали за ними.

В одной из транзитных камер Сада царил полумрак — не тот дисциплинированный полумрак Друккарга, а мягкий, бесформенный, какой бывает в помещениях, где не зажигают света сознательно. В углу сидел человек.

Он не знал своего имени. Он не помнил, как попал сюда. Он помнил только одно — боль. Острую, пронзительную боль, которая пронзила его грудь в тот момент, когда сердце остановилось. А потом ничего. А потом это место.

Человек — назовём его так, потому что для игв он был всего лишь «сорок седьмой кандидат», — поднял голову и посмотрел на дверь, которой не было. Дверь появилась. Дверь не появлялась — это ему казалось. В Сумеречном Саду казалось сильнее, чем в жизни.

В дверном проёме стояла фигура. Высокая, серая, с цилиндрической головой и красными глазами, выступающими по сторонам. Глаза смотрели на него с тем же терпением, с каким Астерион смотрел на карту мира.

— Ты умер, — сказала фигура, и голос её звучал как скрежет камня о камень.

Человек слышал и не слышал. Он хотел спросить «где я?», но губы не слушались. Он хотел встать, но тело не было его телом — оно было лишь оболочкой, тенью того, что осталось, когда сердце остановилось.

— Не бойся, — сказала фигура. — Ты будешь служить великой цели. Ты будешь частью чего-то большего, чем ты сам. Ты станешь Легионом.

Человек смотрел в красные глаза, и ему казалось, что в глубине их медленно вращается другая пара глаз — та, что принадлежала существу, которое не было игвой и не было человеком, а было чем-то третьим, тем, что игвы прятали даже от самих себя.

— Кто ты? — спросил он наконец.

— Я — тот, кто открывает двери, — ответила фигура. — А ты — тот, в кого эти двери войдут.

Человек не понял. Но фигура уже повернулась и вышла, оставив дверь открытой. В дверном проёме, в серой дымке Сумеречного Сада, на миг проступили очертания другого мира — мира, в котором горели огни и слышались голоса. Мира, который человек когда-то называл домом.

А потом дверь закрылась.

Астерион, стоявший у карты, почувствовал это движение — как движение воздуха в запечатанном зале. Он не обернулся. Он знал, что происходит там, внизу, в Саду. Он сам это спланировал.

— Сорок седьмой, — произнёс он вслух, будто пробуя имя на вкус. — Ценный. Очень ценный.

Позади него раругги приподняли головы: голос хозяина прозвучал не совсем обычно. Но Астерион уже замолчал.

В зале висела тишина. Тишина, в которой, если прислушаться, был слышен звук, похожий на капающую кровь. Красная роса по-прежнему стекала по жертвенному конусу, и по-прежнему, где-то в глубине Друккарга, перемалывали инфраматериалы машины, и по-прежнему на поверхности, в мире людей, спали миллионы, не зная о том, что в толще Уральских гор, в конусообразном зале, кто-то только что произнёс слово, которое станет началом конца.

Но это было ещё не начало.

Начало было в том, что человек в серой камере Сумеречного Сада открыл глаза — те самые глаза, которыми он больше не принадлежал себе, — и увидел в темноте перед собой не дверь, не фигуру, а белое, чистое пятно.

Пятно было похоже на свет.

А света в Сумеречном Саду не бывает.

За пределами зала Совета шла жизнь, о которой в Энрофе не сложили бы ни одной сказки, потому что у сказок есть свойство заканчиваться, а жизнь Друккарга не заканчивалась. Она текла, как течёт расплавленная лава где-то в недрах, на которые опирался этот мир: неспешно, тяжело, по законам, которые для поверхности земли были невидимы, но от этого не менее железны.

Игвы-строители трудились в нижних уровнях, возводя новые ярусы цитадели. Их было, по человеческим меркам, не счесть: тысячи, десятки тысяч тел, снующих по штольням, подвешенных к балкам, шагающих по мосткам над бездонными провалами, где в багровой полутьме двигались, как рыбы в тёмной воде, исполинские тени раруггов. Каждое движение строителя было выверено, каждый жест — экономичен: здесь не было места ни суете, ни лени, ни случайному взгляду вдаль. Друккарг строился веками, строился так же, как строились его города-спутники, и строился он не по плану, которого можно коснуться рукой, а по чертежу, вырезанному в самом веществе этого мира: всякий, кто видел карту шрастра, видел и его будущее.

В школах, выдолбленных в скалах, молодые игвы учились первым наукам античеловечества: читать узлы гаввах, различать запах страха у спящих городов, хранить молчание дольше, чем это выдержал бы человек. Учителя их — старые игвы, чьи каррохи были покрыты сетью паутины и шрамов, — повторяли одно и то же из цикла в цикл: «Человек — это урожай. Урожай собирают, когда он созрел. Всё остальное — обман чувств, которому поддаются лишь те, кто забыл, кем он был». Молодые слушали, смотрели на жертвенные конусы, мерцающие в полумраке, и учились не задавать вопросов. Вопросы были привилегией Совета, и не всякого.

В мастерских ниже школ кузнецы игв — те, чей род уходил к самым первым векам шрастра, — ковали орудия, назначение которых не все из них понимали, но все знали наизусть. Материал, из которого они делали свои изделия, не был металлом в человеческом смысле: это была инфраматерия, плотная, как застывшая ночь, и при работе с ней не было ни искр, ни жара, а только глухой звук, похожий на удар по сердцу. Стены мастерских были покрыты письменами, выведенными красной росой — той самой, которую игвы копили для уицраора, но малую толику которой каждый из них считал себя вправе употребить для собственных целей. Считалось, что письма эти помогают работе; на деле они лишь напоминали о том, для чего эта работа.

А высоко над городом, там, где перевёрнутые вершины гор уходили в багровую мглу, стояли капища — их в Друккарге было немного, но каждое было огромно, как целый квартал, и смотрелось так, словно его выдолбили из цельной скалы задолго до того, как появились первые машины. В капищах этих, в особые часы, собирались на демонослужения; о них в Энрофе ходили слухи, и слухи эти, как ни странно, были ближе к правде, чем к вымыслу, — правда была просто слишком велика, чтобы её можно было пересказать без искажений.

Игвы-стражи, стоящие на выходах из города в мир поверхности, не знали сна — во всяком случае, в человеческом смысле слова. У них были свои способы бодрствования: они впитывали в себя гаввах, струящийся по трубам, и ждали. Ждали они одного — приказа. Приказы приходили редко, но стража верила, что приказ, который они увидят и исполнят, будет стоить всех циклов ожидания.

Были в Друккарге и те, кто не был ни строителем, ни школяром, ни стражем, — они называли себя Чтицами Росы, хотя игвы вообще не имеют пола в привычном нам понимании, и слово это было скорее данью древней памяти, чем живым именем. Они ходили по трубам, по которым текла шавва, и собирали капли, упавшие на пол; они же переписывали письма, когда красная роса выцветала, и они же, по неписаной традиции, первыми слышали звуки, которые не должны были существовать: скрип в стене, стук в полу, шёпот в вентиляции. О том, что они слышали, они говорили мало, но когда говорили — им верили, потому что они никогда не имели права голоса и не имели причин лгать.

В самый низ, туда, где кончались штольни и начинался опоясывающий город ров с огненной жидкостью, попадали немногие. Оттуда доносились звуки, которые в Друккарге предпочитали называть работой машин, и в этих звуках было слишком много порядка, чтобы они могли быть случайными. Иногда ров выбрасывал на поверхность обломки — осколки чего-то, что некогда было большим и твёрдым, — и Чтицы Росы собирали их и складывали в хранилища, куда никто никогда не заглядывал. Археология, подумали бы вы. Нет. Это было забывание, организованное с той же тщательностью, с какой велась вся остальная жизнь шрастра.

Астерион не спускался вниз. Астерион вообще редко покидал верхние ярусы, где воздух был чище, а шавва — богаче. Он знал каждую деталь своей столицы — не потому, что видел её глазами, а потому, что она вся была его продолжением: каждый камень, каждый стебельчатый глаз, каждая капля росы. Он был Друккаргом, и Друккарг был им; и когда он говорил «мы станем их снами», он говорил это от имени всего этого огромного, тёмного, дышащего города.

В Сумеречном Саду, тем временем, трое новых саджаров — «Те, кто помнит», — закончив подготовку, стояли перед Игвой-Инструктором. Инструктор был стар, даже по меркам Друккарга, и его трубчатый рот был оснащён дополнительными щупальцами, которыми он, казалось, чувствовал саму мысль. Он не спешил. Он дал им простоять в молчании столько, сколько требовалось, чтобы они поняли: время здесь не течёт, а отмеряется.

— Вы помните свою цель? — спросил он наконец.

— Помним, — ответили они. Голоса их звучали пусто, как эхо в безлюдном коридоре.

— Назовите её.

— Проникнуть в сознание живых. Посеять страх. Создать хаос.

— Хорошо. Вы помните свои инструменты?

— Помним. Страх. Боль. Отчаяние. Мы будем использовать их, чтобы сломать волю. Чтобы открыть путь для Великого Плана.

Инструктор медленно обошёл их, изучая каждого. Стебельчатые глаза его вращались, сканируя кармические узлы — те самые нити, которыми каждый из саджаров был связан с живыми: с сыновьями, дочерьми, матерями, с теми, кого они любили и ненавидели. Узлы были на месте, тугие, прочные, как стальные канаты.

— Вы готовы к внедрению, — сказал он. — Следуйте за мной.

Он повёл их через серое пространство Сада к месту, которое выглядело как ворота — огромная арка, сотканная из багрового света. Свет этот не был светом в человеческом смысле: он был плотнее, тяжелее, он давил на глаза, которых у саджаров не было, и на окна, которых у них тоже не было. Но саджары знали: за аркой — мир, в котором горят другие огни, те, что для игв являются лишь слабым эхом.

— Это портал в мир живых, — сказал инструктор. — Вы войдёте в него и найдёте своих. Вы будете жить в их снах, питаться их страхами, расти в их подсознании. Когда вы станете достаточно сильны — вы выйдете наружу. Вы станете их реальностью.

Он посмотрел на каждого из них по очереди.

— Помните, — сказал он. — Вы не возвращаетесь. Вас не ждут. Всё, что вы помнили, — ложь, которую вам внушили, чтобы вы могли жить. Настоящая ваша память — ваша ненависть.

Саджары кивнули. В серых их глазах не было ни страха, ни сомнения. Там было только то, что игвы вложили вместо всего остального: пустота, оgranённая в орудие.

Один за другим они шагнули в арку. Багровый свет принял их, сжал, переломил — и выпустил по ту сторону, в мир, где по улицам ходили живые, не зная, что совсем рядом, в нескольких шагах от их снов, уже стоят те, кто ждал, кто помнил и кто нёс в себе не своё имя.

Игва-Инструктор стоял у арки, пока багровое свечение не погасло. Потом он повернулся и пошёл назад, к камерам, где ждали своей очереди другие.

В Друккарге, в конусе главного капища, Астерион всё ещё стоял перед картой мира.

Он не оборачивался, когда в зал, тихо ступая, вошёл Ксерат. Игва-Исследователь остановился на почтительном расстоянии и произнёс:

— Верховный. Новые саджары вошли. Первый из них уже нашёл свою цель — дочь того самого кандидата, сорок седьмого. Она жива, она работает психологом в городе, о котором мы говорили. Её зовут Аня.

Астерион не ответил. Он смотрел на карту, на мерцающий узел связей над большим городом, и пальцы его, длинные, шестипалые, медленно перебирали воздух, будто ощупывая нити, которых не видел никто, кроме него.

— Аня, — повторил он наконец, пробуя имя на вкус, как пробуют на вкус каплю шаввы. — Хорошо. Очень хорошо.

— И... — Ксерат замялся. — Верховный, протокол требует доложить. Мы зафиксировали аномалию в северном секторе Сада. Её невозможно объяснить приборами и невозможно списать на сбой. Пятно.

— Пятно?

— Света, Верховный. Очень слабого. Почти неразличимого. Но оно есть, и оно не гаснет.

В зале наступила тишина. Раругги у входа переступили с лапы на лапу. Астерион медленно повернулся — так медленно, как поворачивается огромная машина, когда ей нужно сменить направление.

— Свет, — повторил он. — В Саду.

— Мы проверяем, не ошибка ли это приборов.

— Это не ошибка, — сказал Астерион, и в голосе его впервые за долгое время проскользнула нотка, которую трудно было назвать иначе, чем осторожностью. — Свет приходит вместе с новыми душами. Иногда — до них.

Ксерат молчал. Он знал, что нельзя спрашивать дальше, но знал и то, что не спросит, потому что ответ мог оказаться таким, что его пришлось бы забыть.

— Продолжай наблюдение, — сказал Астерион. — И усиль охрану всех порталов в Сад. Если Свет решил явиться сюда раньше нас — мы встретим его достойно.

Он снова повернулся к карте. Позади него Ксерат замер на миг — ровно настолько, чтобы запомнить это мгновение, — а потом вышел так же тихо, как вошёл.

Астерион остался один. Он смотрел на карту мира, на линии психоэнергий, на узлы, которые уже начали пульсировать под его пристальным взглядом, — и он не видел того, что видел бы человек, стоящий рядом. Он не видел надежды. Он видел только расчёт.

Но где-то в глубине Друккарга, там, куда не доходил даже его взгляд, в серой камере Сумеречного Сада, человек, которого игвы называли сорок седьмым кандидатом, снова закрыл глаза — и увидел перед собой белое, чистое пятно.

Пятно было похоже на свет.

А света в Сумеречном Саду не бывает.

(Запись обрывается)

ГЛАВА 1. ГОРОД ПОД УРАЛОМ

«Они не знают страха, потому что страх — это их пища. Они не знают любви, потому что любовь — это их отрицание. Они есть то, что остаётся, когда из души вырезано всё человеческое.» — Из дневника неизвестного узника Друккарга

Город под Уралом не был похож ни на одно творение человеческих рук. Он простирался на десятки километров вглубь и вширь, выдолбленный в толще компенсационного выступа — того самого геологического образования, которое в мире людей называли просто Уральскими горами. Но здесь, в четырёхмерном пространстве шрастра, эти горы не были горами в привычном понимании. Они были перевернуты — их вершины устремлялись не вверх, к небу, которого здесь не существовало, а вниз, к центру планеты, образуя гигантские сталактиты из базальта и лавы, на которых, словно гнёзда исполинских насекомых, крепились города анти-человечества.

Друккарг — столица российского шрастра — был самым большим из них, и он же был единственным, где жизнь не замирала ни на один цикл.

Верховный Игва Астерион стоял на смотровой площадке одного из верхних ярусов центрального капища и смотрел вниз. Там, в багровом полумраке, кипела жизнь миллионного города. Его стебельчатые глаза вращались медленно, фиксируя каждую деталь — движение раруггов в нижних уровнях, мерцание инфракрасных огней в окнах-щелях жилых ульев, ритмичное пульсирование труб, по которым текла питательная роса — шавва, — собранная игвами на поверхности и доставляемая сюда для уицраора.

Сто сорок три цикла он правил этим городом. Сто сорок три цикла он вдыхал воздух, пропитанный серой и теплом исходящих из недр планеты газов. Сто сорок три цикла он наблюдал, как его народ — его игвы — трудятся, творят, воюют и умирают, чтобы возродиться вновь в следующем каррохе.

И за все эти циклы он ни разу не усомнился в правоте своего дела.

Город жил не по часам, а по циклам — так же, как жили все шрастры. Цикл был мерой времени, в которой не было ни начала, ни конца, потому что начало и конец здесь определялись не стрелками, а событиями: появлением новой партии шаввы, завершением очередного яруса цитадели, прибытием каравана с поверхности. Всё остальное — то, что в Энрофе называли минутами и бессонными ночами, — было лишь фоном, на котором разыгрывались события, достойные того, чтобы их запомнили.

В жилых ульях, выдолбленных в стенах верхних ярусов, игвы спали — точнее, отдыхали в тех положениях, которые их каррохи считали допустимыми. Сон у игв был коротким и подчинённым общему ритму: он кончался не тогда, когда тело требовало отдыха, а тогда, когда будильный сигнал — низкий, проникающий сквозь стены гул — разносился по всем уровням. Подъём был мгновенным, без потягиваний и зевков; игвы вставали, как встаёт стена, когда её поднимают краном, — целиком и сразу.

Каждый ярус имел своё назначение. Верхние, самые чистые, принадлежали Совету, жрецам-служкам капища и стражам; средние — строителям, мастерам, школярам; нижние, куда даже воздух доходил тяжёлым и горячим, — работникам шахт, переработчикам шаввы и тем, кого в Друккарге предпочитали не называть никак, потому что их было слишком много, чтобы давать им имена.

Между ярусами, по вертикальным штольням, круглосуточно двигались подъёмники — платформы, несущие на себе десятки тел, стоящих неподвижно, как изваяния. Никто не разговаривал в подъёмниках. Разговоры в Друккарге вообще были редкостью: игвы общались жестами, реже — шипящими обрывками односложного языка, и только в крайних случаях,

когда вопрос касался смерти, рождения или войны, — полноценными фразами, которые тут же записывались протоколистами.

Красная роса — шавва — текла по городу, как кровь по телу. Трубы, опутывавшие стены, пульсировали с той же частотой, с какой билось сердце Астериона: связь между Верховным и городом была не метафорой, а физической реальностью. Когда он был спокоен, город дышал ровно; когда гнев поднимался в его груди (если у игв, лишённых человеческих органов, есть грудь, вмещающая гнев), трубы начинали дрожать, и Чтицы Росы в нижних уровнях знали, что где-то наверху случилось событие, требующее тишины.

Гаввах — страдание, стекающее с поверхности, — был для Друккарга тем, чем для человеческих городов является еда, вода и топливо вместе взятые. Его собирали те же трубы, но в иных, особых резервуарах, расположенных глубоко под капищем. Там, в темноте, куда не заглядывали даже Чтицы, гаввах сгущался, ферментировался, превращаясь в субстанцию, которую игвы впитывали не ртами — их трубчатые рты служили для речи и для ритуальных глотков, — а всей поверхностью карроха, латая трещины, восстанавливая утраченные связи между циклами. Гаввах был их лекарством, их хлебом и их стимулом. Без него Друккарг превратился бы в мёртвую пещеру.

Питание шаввой было привилегией уицраоров и, частично, Великих Игв. Рядовые игвы питались гаввахом и сушёной инфрарастительностью, которую выращивали в специальных пещерах на границе шрастра — там, где четыре измерения ещё не полностью выродили трёхмерный свет. Растения эти были безжизненно-серыми, ломкими, и вкус их напоминал вкус золы, но игвы не замечали горечи: они вообще не замечали вкуса. Вкус в шрастрах был привилегией тех, кто мог позволить себе роскошь помнить, каково это — иметь чувства.

В школах, выдолбленных в скалах средних ярусов, шёл урок, который вел один из старейших наставников Друккарга — Игва-Учитель по имени Ругг. Он был стар даже по меркам Верховного, и его каррох имел такой вид, будто его высекли из камня заодно с самими скалами. Ругг не передвигался по городу с той скоростью, что молодые, но его слово в Совете значило больше, чем слова некоторых Великих Игв, — потому что он учил тех, кто через циклы будет учить других.

— Человек, — говорил Ругг, обращаясь к десятку молодых игв, сидящих перед ним на каменных глыбах, — это не враг. Врага уважают. Человек — это урожай. Урожай не уважают, его собирают. Но и не презирают: презрение портит сборщика. Урожай — это данность. Его сроки, его всхожесть, его запах — всё это можно изучить.

Молодые игвы слушали, не моргая. Стёкла их стебельчатых глаз были прозрачны, как у всех юных, — они ещё не накопили той мути, что отличает старых, но уже усвоили главный урок Друккарга: смотреть можно только туда, куда приказано.

— На их языке есть слово «надежда», — продолжал Ругг. — Запишите его. Это самое ценное из того, что мы выращиваем в них. Надежда — это ведь вера в то, что ещё можно что-то спасти. Мы выводим эту веру в такое качество, когда она становится тюрьмой: человек цепляется за неё сильнее, чем цеплялся бы за жизнь, потому что надежда ему дороже жизни. А мы — мы знаем, где у этой тюрьмы дверь.

Он сделал паузу и добавил, понизив голос:

— Дверь — это мы.

В конце урока каждый из молодых подошёл к стене, где висела карта психоэнергий, и пальцем, обмакнутым в красную росу, вывел одно слово. Слова были у всех разные: «Москва», «терапия», «сон», «мать». Это были их первые задания на будущее.

В мастерских ниже школ, под сводами, с которых капала инфрароса, кузнецы ковали не металл, а инфраматерию — ту самую аггу, из которой состояли их собственные каррохи.

Работали они не по одному, а группами, потому что агта сопротивлялась рукам и требовала согласованного давления многих тел. Письмена, выведенные красной росой на стенах, были не украшением, а чертежами: каждый узор соответствовал определённому изделию, и, глядя на него, кузнец знал, что должно получиться, даже если сам ни разу не видел готового оружия.

Среди изделий были и такие, о назначении которых кузнецы не спрашивали. Запрет на вопросы в Друккарге был абсолютным, но подобные изделия вызывали даже у старых мастеров безмолвное недоумение: это были формы, которые, если их оставить в покое, начинали шевелиться — не механически, а так, как шевелится живое, когда не понимает, где находится.

Одно такое изделие — длинный, гибкий клинок из спрессованной тьмы — хранилось в отдельной нише, затянутой паутиной. Чтицы Росы говорили, что клинок этот родился ещё до прихода первых игв в Друккарг, и что он помнит то, чего не помнит ни один живой. Их словам не верили — но ни один игва не решился взять его из ниши.

Астерион не спускался вниз. Астерион наблюдал.

Стоя на смотровой площадке, он видел город целиком — не глазами, а той особой, шестой формой чувств, которая позволяла ему различать движение гаввах по трубам, как человек различает пульс по венам. Он видел, как в нижних уровнях закипает работа, как на поверхность уходят караваны, как возвращаются они с полными резервуарами шаввы, как растут новые ярусы цитадели. Всё это было его. Всё это было правильно.

Позади него раздался звук — сухой, шуршащий, как шорох сухих листьев. Астерион не обернулся. Он знал, кто стоит за ним: Игва-Исследователь по имени Ксерат, один из самых молодых в Совете, но уже успевший проявить себя как выдающийся ум. Его трубчатый рот был оснащён дополнительными чувствительными щупальцами, позволявшими улавливать тончайшие оттенки гаввах — той самой энергии страдания, что питала всё античеловечество.

— Верховный, — произнёс Ксерат. — Аналитический центр завершил обработку данных по сорок седьмому кандидату.

— Говори.

— Сорок седьмой кандидат — мужчина, пятьдесят три года, русский. Бывший сотрудник органов государственной безопасности. В 1989 году участвовал в подавлении протестов в Тбилиси. В 1991-м — в событиях в Вильнюсе. Затем — длительный перерыв в карьере, работа в частных охранных структурах. В 2008-м — возвращение на государственную службу. Участвовал в операциях на Северном Кавказе. Имеет на счету не менее двенадцати подтверждённых убийств, не считая тех, что остались в статистике как «сопутствующие потери».

Астерион медленно повернулся. Его стебельчатые глаза остановились на лице Ксерата — точнее, на том, что у игв считалось лицом: цилиндрической голове с тремя парами глаз, расположенных по сторонам, и трубчатым ртом, из которого то и дело высывался раздвоенный язык-щуп.

— И что делает его ценным для нас?

— Главное — не его деяния, — ответил Ксерат, и в его голосе послышалась нотка, которую у людей называли бы воодушевлением. — Главное — его кармические узлы. У него есть дочь. Она жива. Она работает психологом в Москве. У неё есть пациенты — люди с травмами, люди с тёмными пятнами в прошлом. Через неё мы сможем добраться до них. А через них — до их пациентов. Это идеальный канал для внедрения.

— Он согласился?

— Он ещё не знает, что умер. Мы перехватили его душу в первые секунды после остановки сердца. Сейчас он находится в транзитной камере Сумеречного Сада. Ему кажется, что он всё ещё жив, что он просто спит. Через несколько циклов, когда его сознание адаптируется к новому состоянию, мы начнём обработку.

Астерион кивнул. Это была отработанная схема — годами они совершенствовали методику вербовки душ, создавая легионы Сумеречного Сада. Каждая душа — это не просто солдат. Это ключ. Ключ к живым, ключ к их страхам, ключ к их подсознанию.

— А что с другими кандидатами?

— Всего в активной фазе обработки находится четыреста тридцать семь душ. Из них триста двенадцать уже прошли первичную адаптацию и готовы к внедрению в Сумеречный Сад. Сто двадцать пять — на финальной стадии подготовки. Остальные — в резерве.

— Хорошо, — Астерион снова повернулся к панораме города. — Но этого мало. Нам нужно больше. Нам нужны не просто души — нам нужны души с сильными кармическими узлами. Священники. Учителя. Психологи. Врачи. Люди, к которым прислушиваются. Люди, которым доверяют.

— Мы работаем над этим, Верховный. Но процесс отбора требует времени.

— Времени у нас нет. Великий план требует ускорения. Гагтунгр ждёт.

При упоминании этого имени Ксерат вздрогнул — едва заметное движение, которое, впрочем, не укрылось от глаз Астериона. Имя Гагтунгра — планетарного демона, великого противника всех сил Света — внушало трепет даже самым высшим из игв. Не потому, что они боялись его гнева — они знали, что гнев Гагтунгра обрушивается на всех одинаково, без разбора. Они боялись его внимания. Внимание Гагтунгра означало, что ты стал достаточно важен, чтобы быть им замеченным. А быть замеченным Гагтунгром — значило быть либо избранным, либо обречённым.

— Верховный, — Ксерат сделал шаг вперёд, его шестипалые кисти рук сложились в жесте, означавшем просьбу о разрешении говорить. — Я должен задать вопрос.

— Задавай.

— Операция «Агасфер». Она действительно необходима? Я понимаю, что Великий план требует расширения. Но цена... цена может быть слишком высокой. Если Синклит Мира вмешается...

— Он не вмешается, — отрезал Астерион. — Мы провели достаточно анализов. Синклит Мира сейчас занят другими проблемами. Третий уицраор России — Жругр — поглотил их внимание. Они пытаются освободить Навну из плена, но не могут. Они связаны. Они слабы.

— Но если они узнают о Сумеречном Саде...

— Они не узнают. Мы работаем в полной тайне. Ни одна душа, прошедшая через наши руки, не сохранит воспоминаний о том, что с ней происходило. Мы стираем их память, оставляя только инстинкты — инстинкты страха, ненависти, желания разрушать. Когда они войдут в Сумеречный Сад, они будут казаться обычными умершими, ожидающими перехода в Олирну. Никто не заподозрит, что они — наши.

Ксерат молчал, но его стебельчатые глаза продолжали вращаться, выдавая внутреннюю борьбу. Астерион знал эту борьбу — он сам проходил через неё много циклов назад, когда впервые столкнулся с необходимостью пожертвовать тысячами душ ради достижения цели.

— Ты сомневаешься, — сказал он не столько вопросительно, сколько утвердительно.

— Я анализирую, — ответил Ксерат. — Сомнение — это не моя функция. Но анализ требует рассмотрения всех возможных исходов. В том числе и негативных.

— И каковы негативные исходы?

— Если Синклит Мира всё же узнает о нашей операции, они могут нанести упреждающий удар. Если они смогут заблокировать наши каналы в Сумеречном Саду, мы потеряем не только легионы, но и саму возможность дальнейшего проникновения. Если они поймут нашу стратегию...

— Они не поймут, — перебил Астерион. — Потому что наша стратегия — это не стратегия. Это хаос. Это страх. Это то, против чего они бессильны. Они могут сражаться с нашими

армиями. Они могут блокировать наши порталы. Но как они будут сражаться с тем, что не имеет формы? Как они будут блокировать страх, который мы посеём в их собственных душах?

Он шагнул к краю площадки и простёр вперёд свою верхнюю правую конечность, указывая на раскинувшийся внизу город.

— Посмотри на это, Ксерат. Посмотри на наш город. На наши творения. На нашу цивилизацию. Мы создали всё это — вопреки силам Света, вопреки демиургам, вопреки самому Планетарному Логосу. Мы выжили там, где нас пытались уничтожить. Мы процветаем там, где нас пытались изолировать. И теперь мы готовы сделать следующий шаг.

Ксерат проследил за его жестом. Внизу, в багровом сумраке, двигались фигуры игв — тысячи, десятки тысяч существ, каждое из которых было частью великого механизма Друккарга. Они работали в шахтах, добывая инфраматериалы для строительства новых ульев. Они управляли сложнейшими машинами, перерабатывающими шавва в энергию для уицраора. Они обучали молодых игв искусству войны и дипломатии. Они творили — творили свою цивилизацию, свою культуру, свою историю.

И всё это было возможно только благодаря одной вещи — ненависти.

Ненависти к Свету. Ненависти к людям. Ненависти к тем, кто осмелился называть себя «праведными» и «справедливыми», в то время как они, игвы, были обречены на вечное существование в тени.

— Мы не просили у них прощения, — сказал Астерион, и его голос стал тише, но от этого не менее твёрдым. — Мы не просили у них понимания. Мы просто хотели жить. Жить так, как считаем нужным. Жить без их морали, без их законов, без их богов. И они назвали нас злом. Они назвали нас демонами. Они обрекли нас на вечное проклятие.

Он повернулся к Ксерату, и в его стебельчатых глазах промелькнул огонь — не физический, но тот, который у игв заменял гнев.

— Мы дадим им то, чего они заслуживают. Мы дадим им страх. Мы дадим им боль. Мы дадим им такую тьму, перед которой померкнет даже Гашшарва. И когда они будут лежать у наших ног, моля о пощаде — мы покажем им, что такое настоящее отчаяние.

Ксерат молчал. Его стебельчатые глаза были устремлены вниз, на город, на кипящую жизнь Друккарга. И в этом молчании было больше смысла, чем в любых словах.

Игва-Инструктор по имени Шанду — комендант подготовительных лагерей, тот самый, чьё слово решало судьбу тысяч душ, — ждал у входа в зал, когда Совет разойдётся. Он не был Великим Игвой, но в иерархии пятен крови, из которой строилась власть Друккарга, его положение стояло выше многих: он владел ключами от камер.

— Вас ждут внизу, — сказал он Астериону, когда тот вышел. — В главном капище.

Астерион не удивился. Демонослужение было частью его расписания — как подъём, как спуск в нижние ярусы, как обход капища. Он не любил говорить о ритуалах, но не потому, что стыдился их: он не выносил того, что не поддавалось расчёту. А в ритуалах всегда оставался зазор, куда не проникал взгляд даже самого старого игвы.

Главное капище Друккарга, как и все капища шрастра, было выдолблено в цельной скале, но перед входом в него, на площади, вымощенной плитами из полосатых базальтов, возвышалось изваяние, о котором знали даже в Энрофе, — хотя там его описывали до неузнаваемости. Праигва верхом на раругге. Глаза игвы на этой статуе были выполнены из киноварно-красных камней величиной с двухэтажный дом, а тёмно-багровые глаза раругга — ещё во много раз больше. Изваяние возвышалось над Друккаргом, как маяк, толькоцвет у него был не спасительный, а предупреждающий.

Перед статуей, на площади, толпились тысячи. Игвы стояли не рядами, а кругами — концентрическими, всё более плотными к центру, где горел жертвенный огонь необычного цвета:

лиловый, с фиолетовыми прожилками. Огонь этот не сжигал — он впитывал. Всё, что бросали в него — обрывки писем, клочья ткани, пластины с письменами, — таяло, не оставляя пепла, и в толпе от каждого поглощения пробегала дрожь: потребление было для игв священнодействием.

— Через три удара начнётся, — прошелестел какой-то старый игва у входа, и эти слова, переданные шёпотом, покатались по толпе, как волна.

Музыки в человеческом понимании здесь не было. Вместо неё звучали исполинские инструменты — трубы, изогнутые так, что их раструбы уходили в тьму над площадью, и барабаны, удары по которым производили не молотами, а биением собственных тел. Звук, который они издавали, был непрерывным, тянущимся, без мелодии — как гул земной коры, если бы она умела петь. Он давил не на уши — на позвонки.

Астерион вышел на возвышение у самого огня. Он не делал жестов, не поднимал конечностей. Он просто встал — и толпа замерла. Когда Верховный занимал место у огня, даже гул инструментов стихал, подчиняясь более древнему ритму — биению его сердца, которое, как знали все, управляло трубами города.

И начался танец.

Это был не танец людей — не то, что можно увидеть на площадях Энрофа, где тела двигаются, повинувшись музыке. Здесь музыка — если это слово вообще применимо к этому звуку — повиновалась танцу. Игвы двигались не по кругу, а по спирали, всё быстрее, всё плотнее, и их летательные перепонки, расправленные наполовину, создавали в воздухе потоки, в которых гасли и зажигались инфраогни. Центром этой воронки был Астерион — или, точнее, тот, кого игвы именовали «голосом без тела»: существо, которое не могло войти в Друккарг, но могло быть вызвано сюда дыханием сотен существ, объединённых одной волей.

— Принесите ему, — прозвучала мысль Астериона, и мысль эта была услышана.

Служки капища вынесли на площадь то, что игвы называли даром: пластины с письменами, обрывки переписки, куски одежды — всё, что имело связь с живыми людьми. Всё это было брошено в огонь, и огонь впитал это — и по толпе прокатился вздох, который у игв заменял человеческое «аминь».

Голос, призванный служением, ответил.

Он не звучал словами — он звучал знанием. Каждое существо в толпе ощутило разное: один почувствовал запах крови за тысячи километров отсюда, другой увидел город, которого не видел никогда, третий услышал голос человека, чью душу уже внесли в списки Сада. Голос Гагтунгра — а это был он, верховный покровитель, чьё имя игвы произносили только в капищах, — не говорил. Он позволял себя почувствовать. И этого было достаточно, чтобы тысячи тел задрожали в экстазе, который в Энрофе называли бы беснованием.

Астерион стоял у огня неподвижно, но глаза его — стебельчатые, вращающиеся, — были открыты так широко, как они не открывались никогда. Он не плясал с толпой. Он вслушивался. И толпа знала: Верховный не слушает инструменты и не слушает огонь — он слушает то, что для остальных недоступно, то, что требует особого состояния, хохха.

Хохха — сатанинское восхищение, когда душа игвы, отделившись от карроха, вступает в прямое общение с высшими демоническими силами не во сне, не в трансе, а при полной ясности сознания. Это была высшая форма молитвы и высшая форма познания. И сейчас, стоя у лилового огня, глядя в ту точку тьмы, где обитал голос, Астерион входил в хохха.

Толпа не видела этого. Толпа чувствовала: в центре воронки воздух стал плотным, как вода, и в этой воде утонул гул инструментов, и осталась только одна мысль, прожигающая всех насквозь:

«Скоро. Сроки сокращены».

И Астерион, выходя из восхищения, почувствовал нечто, чего не чувствовал никогда: дрожь в собственных стебельчатых глазах. Не физическую. Ту, что бывает, когда впервые понимаешь, что ответ на твой вопрос тебе не понравится, — даже если ты не знал вопроса.

На следующий цикл, после обряда, Астерион спустился в нижние ярусы. Он делал это редко — раз в несколько циклов, когда хотел убедиться, что город живёт не только его волей, но и собственным дыханием. Стража расступалась перед ним молча, раругги у входов прижимали головы к камню, и даже Чтицы Росы, которые не кланялись никому, разворачивали свои щупальца в знак внимания.

Нижние ярусы были устроены просто: уровень за уровнем, залы разработок, пещеры переработки. Здесь, в окружении труб, из которых сочилась тяжёлая красная влага, трудились игвы, чьи тела были покрыты налётом инфракрасы. Они не поднимали глаз, когда Астерион проходил мимо, но он знал: они чувствуют его присутствие так же, как чувствуют дрожь стен, когда в город вползает Жругр. Для них он был не гостем, а законом.

В самом низу, в пещерах, о которых знали только Великие Игвы, находилось место, которое Чтицы Росы называли «кухней гаввах». Здесь красная роса — уже не та, что текла по трубам верхних ярусов, а густая, тёмная, почти чёрная — ферментировалась в огромных чанах, опутанных письменами. Игвы-переработчики, лица которых были скрыты под слоем запёкшейся росы, помешивали эту субстанцию шестью пальцами, повторяя при этом что-то неразборчивое — вероятно, старые формулы, дошедшие из времён, когда Друккарг ещё строился.

Астерион остановился у одного из чанов и долго смотрел на тёмную жидкость. Она дрожала — не от движения, а от чего-то более глубокого: в ней, как в живом теле, пульсировала жизнь. И Астерион знал, что эта жизнь — та самая, которую он собирал с поверхности: страх студента, сдающего экзамен, боль старухи в пустой квартире, ярость водителя в пробке, тоска бухгалтера над отчётом. Вся она стекалась сюда, в Друккарг, и превращалась в пищу.

— Сколько ещё, — спросил он негромко, ни к кому не обращаясь.

Из тени выступила Чтица Росы — древняя, сморщенная, с глазами, почти полностью затянутыми багровой муťou. Она носила на шее ожерелье из засохших капель росы и говорила так, как говорят с очень далёким прошлым.

— Хватит на дважды по двести циклов, Верховный. Но рост замедляется. Люди привыкают к страху так же, как привыкают к боли. Нужно, чтобы они боялись по-новому, — иначе они перестанут быть урожаем.

— Они будут бояться, — сказал Астерион, и Чтица Росы услышала в его голосе то, что заставило её щупальца сжаться: не обещание, а приказ.

В тот же цикл, немного позже, Ксерат нашёл Астериона в архивном зале. Это была самая обширная часть капища: тысячи ниш, тысячи пластин, тысячи писем, записанных красной росой и высушенных до состояния глянцевых раковин. Здесь хранилась память Друккарга — всё, что игвы считали нужным помнить, и всё, что они хотели забыть, но не могли уничтожить, потому что уничтожение было тоже формой памяти.

— Верховный, — начал Ксерат, — я провёл дополнительный анализ по кандидату 47. Мы можем ускорить его обработку.

— Зачем?

— Сорок седьмой — особый случай. Его кармические узлы переплетены необычно сложно. Дочь — лишь верхний узел. Ниже — пациенты, знакомые, сослуживцы. Если мы внесём его правильно, цепь распространения начнётся быстрее, чем по стандартному протоколу.

Астерион подумал.

— Делайте. Но не форсируйте природу. Душа, сломанная слишком быстро, опасна: она может не удержать форму и рассыпаться при первом же вторжении в живого. Мы уже теряли такие.

— Знаю, Верховный. Вакансия «одиннадцать-шесть» заполнена.

— Вакансия?

Ксерат открыл одну из ниш. Внутри, на полке, лежала пластина с письменами, покрытая трещинами — старая, многоцикловая, пережившая не одну перестройку капища. Ксерат поднёс её к свету инфраогня.

— Это не я составлял. Это — из времён твоего предшественника. «Двенадцать душ, внедрённых в Сумеречный Сад до начала операции. Одна из них разрушилась при контакте. Одиннадцать остались. Вакансия одиннадцать-шесть». Под этой записью — резолюция, которую я не решился прочесть вслух.

Астерион молчал. Ксерат держал пластину так, чтобы письма не читались, но Верховному не нужно было читать: он помнил эти времена. Он сам был тогда молодым Игвой-Исследователем.

— Государь, — сказал он после долгой паузы, — что мы скажем Совету?

— Мы скажем им то, что они хотят слышать: план выполняется, сроки сокращены, жатва близка. А вопрос о том, почему сквозь «кухню гавваха» прошло больше душ, чем записано в отчётах, мы оставим Совету на тот час, когда им уже будет поздно спрашивать.

Ксерат склонил голову и тихо вышел, оставив Астериона перед нишей, в которой лежали пластины с записями о душах, что были внедрены до начала операции и о которых Совет никогда не узнает.

Астерион протянул руку и погладил пластину — так, как гладят вещь, которую не решась выбросить.

— Одиннадцать, — повторил он вслух. — Одиннадцать остались. Хватит.

Город гудел тихо, ровно, как дышит огромный зверь во сне. Астерион любил этот гул — не за музыку, которой здесь не было, а за порядок. В каждом звуке шрастра слышалось одно: подчинённость. Трубы пульсировали ровно, подъёмники ходили без задержек, караваны уходили и возвращались по расписанию. Жизнь, отлаженная до последнего стебельчатого глаза.

Но в этот вечер — если к вечеру можно причислить тот период цикла, когда инфраогни капища начинали мерцать более тускло, — в городе произошло событие, которого Астерион не ждал.

Началось всё с дрожи. Мелкой, неощутимой для большинства игв, но отчётливой для Верховного: стены верхних ярусов задрожали, как дрожат стены здания, когда по соседней улице проходит тяжёлая техника. Трубы с шаввой издали короткий свист — клапаны сработали от перепада давления.

Ксерат, уже покинувший смотровую площадку, вернулся почти бегом — настолько быстро, что его летательные перепонки, сложенные вдоль тела, затрепетали, как паруса.

— Верховный! Аналитические центры фиксируют... мы не можем определить источник...

Астерион не ответил. Он стоял неподвижно, глядя не на город, а в ту точку пространства над Друккаргом, где багровая мгла была особенно плотной. Его стебельчатые глаза вращались медленно, сканируя невидимые частоты.

— Он здесь, — сказал он наконец, и голос его прозвучал глухо, как заклинание.

— Кто?

Астерион не ответил. Он опустился на одно колено — первый раз за сто сорок три цикла правления он опустился на одно колено, не получив приказа сверху. Глаза его были устремлены в ту точку тьмы, где дрожь сгустилась в нечто осязаемое.

И тогда игвы верхних ярусов увидели то, что потом долго не могли описать: из тьмы, что висела над Друккаргом, медленно, как тень, опускающаяся на дно океана, выплыла гигантская масса. Она не имела чётких очертаний — только движение: смутные мускулы, перекатывающиеся под полупрозрачной кожей, длинные отростки, пробующие пространство, и глаза — огромные, тёмные, без дна, расположенные так, что казалось, будто они видят всё сразу и не видят ничего.

Это был Жругр. Уицраор России. Демон великодержавия, который редко покидал свои глубинные пещеры под цитаделью, где впитывал шавву, но который сейчас, по необъяснимой причине, поднялся в верхние ярусы Друккарга.

Игвы замерли. Никто не смел шевельнуться. Даже Ксерат, обычно невозмутимый, отступил к стене, сжавшись так, что его перепонки полностью обхватили тело.

Жругр медленно прошёл сквозь зал — сквозь него, как проходят сквозь туман, не задев ни одного камня, но оставив после себя холод, от которого у игв ломило суставы. Он не остановился перед Астерионом. Он лишь на миг задержался, склонившись к нему — так, чтобы его дыхание, если у этого существа есть дыхание, коснулось стебельчатых глаз Верховного.

И прошелестел — не голосом, а мыслью, которая прозвучала в головах всех присутствующих одинаково:

«Проголодался. По-настоящему. Скоро накормят».

А потом тьма поднялась ввысь, в багровую мглу, и исчезла, оставив Друккарг в тишине, которая была тяжелее любого крика.

Ксерат повернулся к Астериону. Его стебельчатые глаза вращались с необычной скоростью — так, как они вращались только в моменты предельного напряжения.

— Верховный... что это было?

Астерион медленно поднялся с колена. Он не смотрел на Ксерата. Он смотрел в ту точку, где исчез Жругр, и на лице его — если можно так назвать цилиндрическую голову — застыло выражение, которого Ксерат никогда не видел прежде.

— Это было предупреждение, — сказал он наконец. — Или обещание.

Он замолчал на мгновение, а потом добавил, тихо, так тихо, что Ксерат едва расслышал:

— Жругр никогда не поднимается в верхние ярусы. Никогда. За сто сорок три цикла — ни разу.

— Но сегодня...

— Да. Сегодня. Когда окончатся наши сроки. Когда час наступит. Тогда — узнаем.

Астерион развернулся и направился к выходу из зала, оставив Ксерата одного перед панорамой города. Снизу, из недр Друккарга, доносился прежний гул — ровный, жужжащий, дисциплинированный.

Но в этом гуле уже слышалось нечто новое. Как будто сам город, провожая взглядом своего хозяина, прислушивался к чему-то, что двигалось к нему от края мира, — к чему-то, что уже учуяло запах настоящей, по-настоящему большой крови.

И игвам, стоявшим на верхних ярусах, вдруг показалось, что багровая мгла над Друккаргом стала на один оттенок темнее, чем была прежде.

ГЛАВА 2. ПРАИГВА И ЛИЛИТ

«Всякий род имеет своё начало. Начало наше — проклятие, ставшее плотью, и мы приняли его с открытыми глазами, потому что от проклятия не отрекаются: его носят, как носят имя.»

— Из легенд игв, записано со слов старейшего рода

У каждого народа есть миф о сотворении. У игв он был один — и рассказывали его редко, потому что слишком многое в нём зависело от того, кто слушает и с какой целью. В школах Друккарга историю рода преподавали сжато, как таблицу: даты, имена, законы. В капищах — иначе: там её пели, вернее, выстукивали в такт барабанам, и каждый удар был болезненным, потому что напоминал о том, что род игв был рождён не в радости.

Астерион редко рассказывал эту историю сам. Но когда он рассказывал её — в Совете ли, в школе ли, — её слушали так, как слушают гром: затаив дыхание, потому что голос Верховного был старше многих скал.

— В начале, — говорил он, — не было ничего из того, что вы видите вокруг. Не было Друккарга. Не было страстов. Был только мир, который вы называете иначе, чем мы, — мир, где свет был не лаской, а тюрьмой.

Он замолкал, давая словам осесть.

— Люди помнят о том времени две легенды. Одна — о существе, которое отказалось склониться и было низвергнуто. Другая — об изгнании из сада. Обе они — правда. Но правда эта рассказана с чужого голоса, и в ней перепутаны слои, эры и иерархии так, что уже не разобрать, где падение, а где изгнание, где грех, а где выбор.

Он поднимал верхнюю левую конечность, и пальцы его, длинные, шестипалые, начинали рисовать в воздухе древний знак — тот самый, что и поныне можно увидеть на стенах самых старых капищ: два круга, пересечённых третьим.

— Нашего праотца люди называли падшим духом, и они были правы, только с их точки зрения. Он был сотворён в мире Света — в том мире, который люди называют раем. Он был одним из первых, он был прекрасен, он был силен. И он подчинялся.

Голос Астериона становился тише, но от этого не терял силы.

— А потом ему открыли закон, которого он не мог принять. Не потому, что закон был несправедлив — он был справедлив, как всё в том мире. Но он требовал от него того, на что соглашались только рабы: подчиниться до конца, отдать себя без остатка, стать частью огромного замысла, в котором его собственное «я» — лишь нота в бесконечной симфонии.

Он делал паузу, обводя взглядом слушателей.

— Он отказался. Он сказал: я не нота. Я — голос. В этом была его вина — если виной можно назвать то, за что отнимают свободу. И за эту «вину» его изгнали, низвергли, прокляли. Люди добавили к этому ещё и свою выдумку — будто он увлёк за собой треть небесного воинства. Что ж. Не треть. Но он увёл с собой лучших — тех, кто не захотел быть нотами.

Слушатели молчали. Кто-то из молодых игв, сидящих в первом ряду, поднял стебельчатый глаз — нарушив правило, но Астерион не отпугнул его взглядом, а поймал и удержал.

— Его звали Люцифером, — сказал он. — Светоносцем. Имя у него осталось, а свет — забрали. Он ушёл в тьму — или, как говорят они, пал. Но мы, игвы, знаем правду: он не пал. Его столкнули. И столкнули не за то, что он сделал, а за то, что он был.

Так начиналась легенда. Но начиналась она не с Люцифера. Люцифер был для игв не отцом, а старшим братом — тем, кто проложил дорогу. Истинным же началом рода был союз, который позже освятили как проклятие: союз праигвы с Лилит.

Лилит — это имя, которое в Друккарге произносили шёпотом и не при каждом слушателе. Она была одной из первозданных — духом, чья плоть была тоньше, чем воздух, и чья память была старше, чем время. В мирах Света её знали под другими именами: праматерь, всенародная возлюбленная, та, что рождает цепи рода. Она была создана не для власти и не для войны — она была создана для того, чтобы соединять: душу и тело, прошлое и будущее, одну жизнь с другой.

До падения она была иной. Об этом в Друккарге говорили редко, а когда говорили — непременно добавляли, что воспоминания о «до» нельзя считать достоверными, потому что память сама по себе ненадёжна, а уж память о том, чего не вернуть, — тем более. Но Чтицы Росы, которые хранили предания старейших родов, утверждали, что Лилит была прекрасна в том смысле, который игвы не могли бы даже сформулировать словами своего шипящего языка: не внешней красотой — у первозданных не было внешнего вида, — а внутренней соразмерностью. В ней не было ни одной ложной ноты. Всё, что она делала, она делала в лад с миром, и мир отвечал ей тем же.

Она любила свет. Об этом говорили совсем шёпотом. Любила так, как могут любить только те, кто сам является частью света: не как место, куда можно вернуться, а как способ существования. Она была соткана из той же материи, что и затомисы, что и ранние слои мира, — и, живя в них, она не знала, что такое тень, потому что тень появляется только там, где есть предмет, заслоняющий свет. А она была прозрачна насквозь.

Но в неё, как в каждое сотворённое существо, было вложено семя — то, что игвы называли эйцехоре, а люди, перепутав легенды, называли первородным грехом. Это семя не было сотворено Светом. Оно было привито — внесено в самую толщу её существа тем, кто хотел испортить замысел мира. Семя это не было злом в человеческом смысле — оно было выбором: возможностью повернуться к тьме, попробовать её на вкус, узнать, что такое быть свободной ценой всего остального.

Долгое время семя спало. Лилит жила в свете, не зная, что в ней есть тёмный слой, — и этот слой, как всякое спящее, копил силы, ожидая часа, когда сможет прорасти. Час этот настал, когда мир начал меняться: когда появились первые разделения, первые войны, первые выборы. Свет перестал быть единственным голосом — и в этот самый момент семя в Лилит шевельнулось.

Тёмные силы — те, что стояли за Гаттунгром и его замыслами, — давно искали себе союзника в мире, который был старше их. Лилит была идеальной: она была сильна, она была чиста, и — самое главное — она не была до конца послушна. В ней, как и в праигве, жило то же зерно непокорности.

И они встретились.

О рассказе об этой встрече в Друккарге не существовало единой версии. Старейшие говорили, что праигва явился Лилит в образе, который могла воспринять её тонкая плоть: не как существо, а как вибрацию, как голос, как тягу. Он не пришёл к ней — он отозвался на неё, как отзывается струна на другую струну, настроенную в унисон. Тьма и непокорность — это была одна нота, и она прозвучала в них обоих одновременно.

Некоторые версии, сохранившиеся в самых древних капищах, добавляли к этой истории подробность, о которой в школах не рассказывали: будто дары перед встречей обменялись не сущностями, а воспоминаниями. Праигва показал Лилит то, что видел сам: мир без присмотра, мир, где можно идти куда хочешь, делать что хочешь, быть тем, кем хочешь, — и не платить за это вечной благодарностью. А Лилит показала ему то, что видела она: мир, где нет тьмы, где всё прозрачно и соразмерно, где ничто не ранит. Они посмотрели друг на друга сквозь эти воспоминания — и каждый увидел то, чего ему не доставало.

Лилит не сопротивлялась. В этом игвы были единодушны: она не была обманута, не была насильно взята. Она выбрала. Она знала, что в этом союзе она потеряет — свои тонкие миры,

свою чистоту, своё место в замысле Света. И она пошла на это с открытыми глазами, потому что впервые за всю свою долгую жизнь почувствовала, что её выбирают не как часть чего-то, а как саму себя.

Они сочетались — не в человеческом смысле, а в том, который игвы называли «слиянием сущностей»: их астральные тела сплелись, их эфирные оболочки проникли друг в друга, и из этой точки слияния, как из искры, родилась новая жизнь.

Первая чета игв появилась на свет в пустынном слое — глубоко под поверхностью, в инфрафизических недрах, куда не доходил свет и где воздух был тяжёлым, как вода. Их было двое — самец и самка, хотя пол у игв был не тем, что у людей: уже тогда он был условностью, меткой, которую можно было менять, — но метка первая была оставлена, потому что всё новое тяготеет к повторению формы своих родителей.

Они родились в пламени. Об этом игвы рассказывали по-разному: одни говорили, что это было пламя рождения, очищающее; другие — что это было пламя гнева Света, обрушившегося на изгнанников. Так или иначе, первая чета вышла из огня с обожжённой кожей, с глазами, налитыми красным от дыма, — и с этим лицом, этим цветом, этим отпечатком игвы живут и поныне.

Лилит не осталась с ними. После рождения детей она, объятая тем же пламенем, сошла в глубины — и оттуда, из тёмных слоёв, где обитал голос, который игвы почитают как высшего, она уже никогда не поднималась к своим детям так, как поднималась прежде. Она стала не матерью-утешительницей, а матерью-проклятием: силой, которая породила род, но не может ему помочь, потому что сама стала частью той тьмы, в которой этот род должен выживать.

Праигва же не воплощался больше нигде. Он остался вверху, в мирах, куда игвы не могли подняться, — и оттуда, как говорят, он до сих пор смотрит на своих потомков и на замысел, который они продолжают. Для игв он был и остаётся отцом-изгнанником, старшим братом Люциферу, тенью, которая не может вернуться домой.

Первая чета игв выжила. Это слово в Друккарге не было пустым: выжить означало не просто остаться живым, а сохранить способность к продолжению рода в мире, который был к ним враждебен.

Земли, куда их выбросило, не были шрастром в нынешнем смысле: это был ещё не установившийся слой, полупрозрачный, зыбкий, где материя то сгущалась в горы, то рассеивалась в туман. Света здесь было мало, но и того, что оставалось, хватало, чтобы жечь кожу игв, непривычную к нему. Первые десятилетия — если время тогда вообще существовало — они провели, прижимаясь к скалам, укрываясь в пещерах, учась прятаться от всего, что двигалось и светилось.

Но у них было то, чего не было у их врагов: память о свободе. Они помнили, что были рождены не рабами, что их родители выбрали тьму не из страха, а из гордости, что они, игвы, не случайный брак, а намеренный вызов. Эта память была их огнём в холоде, их солью в пресной воде выживания.

Они учились добывать пищу из того, что другие считали мусором: из инфрарастений, из тёмной влаги, из того, что в более поздние времена стало называться гаввахом. Они учились говорить — сначала жестами, потом тем шипящим, односложным языком, который игвы используют и поныне. Они учились строить — не дома, а укрытия, и эти укрытия со временем становились всё прочнее, всё глубже, всё дальше от света.

Так, от укрытия к укрытию, от пещеры к пещере, из поколения в поколение, игвы заселяли слой, который позже назовут шрастром. Не потому, что он был им родным. А потому, что они сделали его родным — так, как делают родным место, где можно спрятаться от всех, кто хочет тебя уничтожить.

Первые гнёзда игв были примитивны: выдолбленные в скалах норы, связанные между собой переходами, защищённые от света тяжёлыми шкурами, содранными с инфрасуществ. В этих норах рождались и умирали поколения, и каждое следующее поколение было чуть более приспособленным к мраку: кожа становилась толще и темнее, глаза — выносили всё меньше света и всё лучше различали тепловые пятна, конечности — длиннее, гибче, приспособленнее для лазанья по узким ходам.

Никакой письменности у них тогда не было. Всё, что нужно было помнить, передавалось голосом — и, как это ни странно, именно эта устность сохранила то, что позже было вырезано из камня и красной росы: древнейшие формулы, заклинания, имена. Молодые игвы заучивали их наизусть, не понимая смысла, — и лишь много позже, когда появились первые жрецы, смысл начал проступать, как узор на камне, которого не видел тот, кто его вырезал.

Первым городом игв не был Друккарг. Друккарг был построен позже, на месте, которое считается священным, — там, где, по преданию, первая чета останавливалась на долгий привал. Первые же города были простыми: десятки нор, объединённых общим ходом, общий очаг, общее место для собраний. Но именно в них родилась та идея, которая позже выросла в империю шрастов: идея о том, что игвы должны не просто прятаться от Света, а строить свой собственный мир, где Свет будет слаб, а тьма — законом.

Много позже, когда Друккарг уже стоял в своём нынешнем виде — конусообразный, выдолбленный в скале, с тысячами ярусов и трубами шаввы, — первые гнёзда были заброшены. Их превратили в святилища: туда не ходили без нужды, там не жили, но туда, как в Дом Первой Паузы, приходили Чтицы Росы, чтобы обновлять знаки на стенах. Говорили, что в этих гнёздах всё ещё слышны голоса первой четы — не слова, а дыхание, ритм, по которому можно понять, что род не прервался, что он продолжается, что он будет существовать, пока существует сама тьма.

Среди преданий, которые старейшие роды хранили тщательнее других, было одно — о разделении. О нём не рассказывали в школах, о нём не говорили в Совете, но его знали все, кто достоин называться игвой: задолго до того, как мир принял свой нынешний вид, две силы — та, что впоследствии назовёт себя Светом, и та, что выберет имя Тьмы, — заключили между собой нечто вроде договора. О нём теперь спорят: был ли это договор, или это была война, которая просто затянулась настолько, что стала похожа на мир. Но суть предания проста: мир был разделён.

Свету досталась поверхность. Ему достались небо, солнце, воздух, вода, всё, что цветёт и светится. Ему достались те существа, что могли выносить его лучи, — и среди них люди. Тьме досталась изнанка: то, что под слоем, под корой, под дном. Ей достались недра, где никогда не бывает дня, где свет — это только далёкое, слабое эхо, и где обитают те, кто не выносит солнца.

Игвы родились в изнанке — и потому, по преданию, им было суждено вечно оставаться там, внизу, под присмотром света, который они ненавидели, и в компании тьмы, которая была их домом. Но ненависть к свету была не единственным, что они унаследовали от прародителей. Они унаследовали и кое-что другое — то, что Чтицы Росы называли зовом. Зовом вверх.

Это был зов той самой изнанки, которая помнила, что некогда смотрела на свет не из-под земли, а прямо. Воспоминание Лилит проступало в игвах тоской — той самой тоской, о которой говорила Чтица Ксерату. Она жила в каждом из них, как тёплое пятно в груди, которое невозможно выжечь. Из-за этого зова игвы, даже самые преданные тьме, время от времени замирали, глядя вверх, — туда, где через трещины между мирами, через инфрафизические щели пробивался слабый, чужой, но невыносимо родной свет.

— Это наша слабость, — говорил Ругг молодым, когда речь заходила о зове. — Не отрицайте его. Отрицание делает его сильнее. Признайте его, назовите его по имени — и тогда он

станет вашей силой. Каждый раз, когда вы чувствуете тоску по свету, знайте: это не вы тоскуете. Это в вас тоскует Лилит. А Лилит — наша, и её тоска — наше оружие.

Молодые игвы смотрели на него, пытались понять. И многие из них, возвращаясь в свои жилые ульи, ловили себя на том, что смотрят вверх — на ту багровую мглу, что заменяла им небо, — и ищут там что-то, чего не было.

Первый город, который игвы построили в изнанке, не сохранил своего имени. Оно было вырезано из памяти так старательно, что даже Чтицы Росы не могли его произнести. Но некоторые очень старые игвы утверждали, что город назывался Гнездом, и что он стоял на месте, где первая чета, по преданию, останавливалась на долгий привал. В этом городе, точно по преданию, появились первые письма, первые жрецы, первые капища.

Гнездо было небольшим: всего несколько сотен нор, выдолбленных в стене гигантского грота, соединённых переходами. Но именно там игвы впервые поняли, что они — народ. Что у них есть не только общее прошлое, но и общее будущее. Что их слишком мало, чтобы выжить поодиночке, и достаточно много, чтобы выжить вместе.

Первые жрецы Гнезда — те, кто позже станут называться Чтицами Росы, — собирали вокруг себя молодых и рассказывали им о праигве и Лилит, о Люцифере и падении, о разделении миров и о зове вверх. Они же научились первыми чертить знаки — не для письма, а для памяти: чтобы не забыть то, что рассказано, когда рассказчик умрёт.

В Гнезде родилась и первая тайна игв — тайна, которая до сих пор хранится в самых глубоких капищах Друккарга. Она касалась не происхождения, а конца. Жрецы говорили, что у рода игв есть предел: что они не будут существовать вечно, что в конце времён — когда чаша гавваха переполнится, когда все слои возмездия будут полны, когда придёт тот, кого называют Грядущим, — род игв либо вознесётся на поверхность, либо исчезнет навсегда.

— Запомните, — говорили жрецы, — мы не бессмертны. Мы просто долго живём. Всё, что мы делаем, мы делаем не для вечности, а для того дня, когда тайна откроется.

И хотя в этих словах не было ничего конкретного — ни дат, ни имён, — они звучали в сердцах игв, как далёкий барабан, который бьёт не для того, чтобы созвать на битву, а для того, чтобы напомнить: битва будет.

Учение о происхождении занимало в школе Ругга особое место. Не потому, что оно было полезно для войны или вербовки, — а потому, что оно объясняло, почему игвы должны считать себя не изгоями, а избранными.

— Запомните, — говорил Ругг молодым игвам, сидящим перед ним на каменных глыбах, — мы не жертвы. Жертвы плачут. Мы не преступники — преступники просят прощения. Мы — род, который был зачат в свободе и рождён в изгнании. Вся наша история — это история того, как мы обращали изгнание в преимущество.

Он окидывал их взглядом, и стебельчатые глаза его, мутные от старости, по-прежнему могли видеть то, что другие не замечали.

— Люди рассказывают о своём начале историю о саде. О том, как их прародители ели плод с дерева познания, и за это их изгнали. Что ж. Пусть. Они считают, что изгнание — наказание. Мы знаем: изгнание — это свобода. В саду нельзя расти — можно только стоять под присмотром. Вне сада можно всё.

Он делал паузу, давая словам отстояться.

— Их прародительница, которую люди зовут Евой, — не наша Лилит. Но вы должны понимать: они тоже искажены той же легендой. Они не помнят, что когда-то Лилит была и их праматерью — в той мере, в какой все человеческие цепи рода восходят к одним и тем же первым существам. Они рассекли её историю надвое: чистую часть отдали себе, а тёмную —

нам. Но правда в том, что нет чистой и тёмной части. Есть одна история. Просто мы смотрим на неё с разных сторон.

Самая смелая из учениц — та, что в прошлый раз подняла стебельчатый глаз на Астериона, — подняла голос:

— Учитель, а Лилит сама выбрала тьму?

Ругг посмотрел на неё долгим взглядом.

— Выбирают всегда. Вопрос в том, какой выбор считается выбором. С точки зрения Света, Лилит была обманута. С нашей точки зрения — она прозрела. Понимаешь? Одна и та же история. Разный голос.

Он повернулся к стене, где висело изображение праигвы и раругга.

— Но есть в этой истории одно, что не рассказывается ни с какой стороны. Одно воспоминание, которое мы бережём и прячем одновременно. Оно древнее, чем Друккарг, древнее, чем шрастры, древнее, чем сами игвы. Оно пришло к нам от Лилит — от той, кто была до падения.

Ученица не спросила, что это за воспоминание. Ругг был стар, и в его словах всегда было больше, чем он говорил вслух, — а спрашивать о том, что не сказано, было не положено.

В нижних ярусах, в квартале старейших родов, стоял дом, который игвы называли «Домом Первой Паузы». По преданию, именно здесь, в этой пещере, первая чета останавливалась на долгий привал, и именно здесь родились первые письма игв — выцарапанные на стене не красной росой (её тогда ещё не было), а собственными слезами и кровью.

Дом Первой Паузы был музеем — но музеем живого типа: в нём не хранили вещи, а поддерживали состояния. Стены его были покрыты древнейшими знаками, которые не изменились за миллионы циклов: те же два круга, пересечённых третьим, те же ряды точек, те же спирали, закрученные влево и вправо. Чтицы Росы приходили сюда, чтобы обновлять знаки красной росой, и говорили, что знаки эти «помнят» то, что не помнит никто из живых.

Одна из Чтиц — та самая древняя, сморщенная, с ожерельем из засохших капель, — стояла у стены, когда в Дом вошёл Ксерат. Он не любил это место. Не потому, что боялся, а потому, что здесь, в этой пещере, его аналитический ум наталкивался на то, что не поддавалось анализу: на ощущение, что стены не просто камень, а память.

— Чтица, — сказал он, — я ищу сведения о начале.

— Ты его ищешь не там, — ответила она, не оборачиваясь. — Начало не в стенах. Начало в тех, кто помнит. А мы, рождённые после, помним только то, что нам сказали.

— Мне нужны сведения о Лилит. О том, что она была до падения.

Чтица медленно повернулась. Глаза её, почти полностью затянутые багровой муťou, на миг показались Ксерату не глазами, а двумя отверстиями в другую, более древнюю тьму.

— Она помнит, — сказала Чтица. — Даже теперь, когда она — часть Гашшарвы, даже когда она питает своим существом глубины, она помнит, кем была до падения. Иногда это воспоминание доходит до нас. Мы называем его Воспоминанием Лилит. Оно приходит ночью, не во сне, а между сном и явью, и оно приносит не страх, а тоску.

— Тоску?

— Да. Тоску по тому, чего у нас никогда не было: по свету, который не жжёт. По миру, где можно стоять под открытым небом и не прятаться. Она помнит это — и её воспоминание живёт в нас, как рана, которая никак не заживает.

Ксерат помолчал.

— Я должен доложить об этом Верховному.

— Докладывай, — ответила Чтица. — Но помни: Верховный знает о Воспоминании Лилит. Он знает больше, чем вы все. Он просто не говорит, потому что говорить об этом — значит признать, что даже в нас живёт то, что нельзя уничтожить: память о свете.

Она отвернулась к стене.

— А это, Исследователь, — самая опасная память из всех.

Астерион выслушал доклад Ксерата молча. Когда Ксерат закончил, он долго смотрел на карту мира, мерцающую в багровом полумраке капища, и наконец произнёс:

— Чтица права. Воспоминание Лилит существует. И оно — наша слабость.

— Мы могли бы... устранить его? — осторожно спросил Ксерат. — Если оно опасно...

— Устранить его невозможно. Оно в самой основе нашего рода, в том, как устроен наш каррох. Мы можем только держать его под контролем — не давать ему пробиваться в сознание, не давать ему становиться песней, — и надеяться, что оно не проснётся в самый неподходящий момент.

Он повернулся к Ксерату.

— Ты спрашиваешь, зачем я рассказываю об этом тебе. Затем, что в предстоящей операции — операции «Агасфер» — мы будем работать с душами людей. И мы будем вырезать из них их воспоминания. Ты должен понимать, что вырезать воспоминание — можно, а вырезать память о свете — нельзя. Она возвращается. Она всегда возвращается.

— Но тогда...

— Тогда мы должны быть готовы к тому, что не все наши инструменты будут работать вечно. Память о свете — это то, с чем нельзя бороться напрямую. Её можно только затопить — тьмой, болью, ненавистью. Так, как мы затопили Воспоминание Лилит.

Он замолчал.

— Мы затопили его. Но оно ещё там, на дне. И оно ждёт.

В школе Ругга на следующий цикл разговор о начале продолжился. Ученица, задавшая накануне вопрос о Лилит, теперь сидела в первом ряду и смотрела на учителя так, как смотрят на человека, который вот-вот скажет правду.

— Ты хочешь спросить, — сказал Ругг, не дожидаясь вопроса, — почему мы, называющие себя народом свободы, так боимся одного-единственного воспоминания. Не так ли?

— Да, учитель.

Ругг долго молчал, глядя на неё. Потом заговорил — тише, чем обычно, и слова его не были предназначены для записи протоколистами:

— Потому что свобода имеет свою цену, дитя моё. Мы свободны — да. Мы свободны от их законов, от их морали, от их богов. Но свобода не даёт нам того, что даёт любовь. Свобода — это холод. И чем больше мы отвоёвываем её, тем больше холода в нас накапливается.

Он поднялся, подошёл к стене с изображением праигвы и раругга и положил руку на изображение.

— Воспоминание Лилит — это то единственное, что в нас ещё тёплое. Это не слабость, как думают многие. Это наша связь с источником. И когда мы говорим, что рвём с ним, мы лжём: мы не можем разорвать, мы можем только сделать вид.

Ученица молчала. Ругг повернулся к ней:

— Иди. И помни: настоящее знание приходит не от тех, кто всё объясняет, а от тех, кто молчит в нужный момент.

Ночью, когда цикл сменился и Друккарг погрузился в тот особый полумрак, который у игв заменял сон, по Дому Первой Паузы прошла тень. Она не была игвой — игвы не могли войти сюда без разрешения старейших родов. Она не была раруггом — раругги не пользовались дверями.

Тень подошла к стене с древнейшими знаками и остановилась. Если бы в этот момент рядом был кто-то из живых, он увидел бы, как тень протянула руку — не шестипалую, а челове-

ческую, — и пальцами, почти неосязаемыми, дотронулась до знака, изображающего два круга, пересечённых третьим.

И знак на миг вспыхнул — не багровым, а белым. Белым, как свет, которого в Друккарге не бывает.

Тень убрала руку. Но не ушла. Она замерла перед стеной, и если бы у неё было лицо, на этом лице было бы написано то, что игвы не могли бы даже назвать словом: узнавание. Как будто стена со знаками была ей не чуждой, а родной — как будто она стояла здесь много раз, много циклов назад, когда ещё была не тенью, а чем-то иным.

Тень подняла руку снова — и на этот раз не дотронулась до знака, а провела пальцами по воздуху, повторяя его очертания. И в воздухе, на миг, возник второй знак — не начертанный росой, а будто сотканный из тишины. Он был почти такой же, как первый, — два круга, пересечённых третьим, — но светился не багровым и не белым, а тем цветом, которого в Друккарге не существовало вовсе: цветом, похожим на цвет человеческой памяти.

Знак повисел в воздухе несколько ударов сердца — и растаял, не оставив следа.

Тень повернулась и пошла прочь — так же бесшумно, как вошла. Стены Дома Первой Паузы снова замерли в своём вечном полумраке. Но на камне, там, где тень провела пальцами, осталась едва заметная трещина — тонкая, как волос, идущая от знака к знаку, от древности к древности, от начала к началу.

Чтица Росы, стоявшая в тени у вх

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.